УДК 32:93

ГОРИН Д.Г.

Политика памяти в условиях социально-политической трансформации: особенности России

В статье рассматриваются социальные и культурные детерминанты политики памяти в современной России. Для анализа соотношения между интерпретациями прошлого и политическим настоящим в условиях социально-политических трансформаций требуются новые аналитические инструменты. На основании реализованного автором хронотопического анализа он приходит к выводу, что фрагментация образов прошлого определяется особенностью политической культуры и воспроизводством политической реальности.

Ключевые слова: политика памяти, социально-политическая трансформация, историческое самосознание, политическая культура, хронотоп, виртуализация, постмодерн.

Состояние политики памяти в современной России характеризуется весьма существенным противоречием. С одной стороны, в последние несколько лет в целях укрепления оснований собственной легитимации власть более активно обращается к образам прошлого (проект «Имя России», указы президента о создании «комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» и об объявлении 2012 года годом российской истории). Но, с другой стороны, в условиях социально-политических трансформаций и все более очевидного доминирования стилей мышления, характерных для потребительского общества, весьма затруднительным оказывается поддержание относительно целостных образов прошлого. Не только инфраструктура политики памяти колонизируется логикой потребления, но распадается и сам ее объект.

Указанное противоречие и другие характеристики политики памяти активно исследуются в последнее время как в содержательном, так и в институциональном плане. Актуальность обретает не только дискурс-анализ политики памяти, но и исследование всей ее инфраструктуры, включая политические институции, научные и образовательные учреждения, медиасферу, музеи и политизированную топонимику. Однако не менее важным для развития политической науки является рассмотрение политики памяти с точки зрения способов репрезентации политической реальности и закономерностей функционирования идеологических систем мысли в меняющихся условиях. Этот последний из названных аспектов представляется изученным в меньшей степени и является предметом анализа в данной статье.

Источниковая база исследования включает в себя совокупность историко-политических текстов, отражающих специфику систем политической мысли (медиавыступления субъектов политики памяти, мемуарный комплекс, философско-политические тексты), а также результаты социологические опросов. Метод исследования основан на хронотопическом анализе политики памяти, суть которого состоит в выявлении ее зависимости от способов кодирования времени и пространства, характерных для определенной культурной ситуации[1]. Одним из фундаментальных параметров такого кодирования является способ соединения (или разъединения) политической реальности и идеала.

Роль политики памяти в поддержании политических идеалов

Репрезентация политической реальности в истории политических идеологий обреталась, как правило, путем создания внешнего по отношению к ней топоса воображаемого идеала. В любой идеологической системе мышления этот идеальный топос представляет собой своеобразную точку отсчета, откуда наблюдатель имеет возможность увидеть социальную целостность *как бы со стороны.* И в этом смысле, как писал Н. Луман, «присутствующее обязано собой отсутствующему, которое делает возможным его явление»[2]. Характерное для эпохи модерна идеологическое мышление, оперируя в обществе, пытается оперировать против общества, словно бы это мышление имеет основания за пределами общества. Н. Луман описал два варианта постулирования воображаемого топоса в идеологическом мышлении эпохи модерна[3]. Первый основан на тавтологии и состоит в предположении, что общество – это то, *что* оно есть изначально. Это означает, что воображаемый идеал помещается в прошлое и объявляется воплощенным (в восприятии реальности в этом случае акценты смещаются не на «отдельные недостатки», а на ее идеальную сущность). Если это так, то необходимо противодействовать любым тенденциям социальных преобразований. Такая позиция характерна, например, для консерватизма. Второй вариант основан на парадоксе: общество есть то, *что* оно не есть. В этом случае общество отождествляется с идеалом, реализации которого препятствуют некие силы. Политика памяти переориентируется на обоснование различных революционных и реформаторских теорий. Представления о прошлом в обоих случаях играют принципиальные функции поддержания фундаментальных различий, лежащих в политических самоописаниях общества. В первом случае представления о прошлом легитимируют настоящее и позволяют выявлять нежелательные явления, «выпадающие» из идеальной модели, локализуемой в прошлом. Во втором случае идеальная модель локализуется в будущем, в котором прошлое будет преодолено (очевидно, что и в этом случае необходимо поддерживать четкие представления о том, что именно должно преодолеваться).

Таким образом, секуляризация культуры и обретение политической реальностью некой воображаемой автономии неизбежно связаны с решением проблемы соединения (или разъединения) реальности и идеала путем *конструирования различий во времени*. Как продемонстрировал Н. Луман, «…темпорализация и идеологизация в известной мере выручают друг друга там, где речь идет о компенсации утери реальности»[4]. Хронотопический смысл любого политического самоописания состоит в том, что хронотоп политической реальности оценивается с позиции «внешней» по отношению к ней локализации наблюдателя. Наблюдатель как бы отделяется в своем мышлении от актуальной реальности и смотрит на нее с позиций хронотопа той воображаемой реальности, которая и представляет собой идеал. И поэтому в идеологическом мышлении характерного *хронотопического смещения* избежать не удается. Известная уязвимость политических идеологий заключается в том, что сами их носители действуют не в идеальном топосе, а в реальном обществе, за рамки которого физически выйти они не могут. Разоблачая тавтологию и парадокс в идеологических самоописаниях, Н. Луман утверждал: «Тайна альтернатив состоит в том, что никакой альтернативы они вообще предлагать не должны»[5].

Для подобного «удвоения» реальности требуется изобретение особого чувства времени – того самого объективированного времени-хронос, которое часто представляется в виде изначально «пустой» ленты, заполняемой затем историческими событиями. И хотя время-хронос как объективированное время хронологии – это продукт античной культуры, изобретение истории в ее современном виде происходит в культуре модерна. Встраивание идеала в линейное переживание времени связано с распространением характерной для модерна веры в прогресс. Появление идеи прогресса оказалось возможным вследствие обоснования инструментального отношения к природе, которое начало формироваться еще в средневековой Европе. Линейный хронотоп культуры модерна противопоставляет репродуктивно-цикличному доиндустриальному труду автономное и творческое личностное начало, позволяющее выйти на продуктивное умножение существующего потенциала.

Однако воспроизведение подобного стиля мышления в разных политических культурах имеет свои ограничения и вариации. Например, линейные представления о времени с трудом совмещаются с имперским стилем мышления, в основании которого доминирует не временной, а пространственный код. Империи, как отмечал Д. Бел, представляют собой географические образования, и логика их становления задается стремлением к экспансии. События в истории империй – это результат их столкновения с внешним для них миром, поэтому эти события могут вписаться только в «модель постоянного расширения пространства» империи[6]. В этом случае культурная память будет воспроизводиться по логике не хронополитики, а геополитики.

Политические идеологии в хронотопе российской культуры

Особенности хронотопа российской культуры состоят именно в подчинении времени пространству. Русский язык свидетельствует о преобладании пространственного мышления над временным. Развитие, например, понимается скорее как разворачивание и в большей степени характеризуется не временем, а пространством[7]. Даже этимология слова «время» отсылает к словам «вертеть», «вращать», пространственный характер которых очевиден. Восприятие времени близко к таким пространственным образам, как «вращение», «круг», «поворот», «оборот» или развертывание в пространстве[8]. Разумеется, вторичность времени по отношению к пространству представляет собой черту не только российской культуры. Структуры переживания и означивания времени в любой культуре, как известно, формируются позже, чем семиотизация пространственных различий. Однако устойчивость пространственной семантики и циклической парадигмы переживания времени неоднократно в российской культуре создавали своеобразную ловушку логики экстенсивного пространственного расширения.

Впрочем, российская политическая культура знает и линейное время, которое освобождает процесс развития от пространственной предопределенности. Однако линейное переживание времени в большей степени связано с влиянием культуры западного модерна. В послепетровской России линейный вектор времени затронул в основном мышление элитных групп, интеллигенции и частично отразился на деятельности властной вертикали. В результате возникали существенные разрывы в переживании времени различными социальными слоями. Наиболее очевидными такие разрывы становились в периоды бурных изменений, обнажавших принципиальное несовпадение жизненных ритмов консервативных слоев с теми ритмами, которые задавали реформаторы. Эти ритмы различаются не темпом, как может показаться, а кодом: движение «вперед» содержит в себе стремление «назад», что проявляется, например, в наделении новых социально-политических концептов привычным содержанием.

В силу разных причин в настоящее время реанимируются существенные элементы цикличного хронотопа. Экономический рост 1998–2008 годов был вызван, как известно, не внедрением инноваций, а восстановительной динамикой экономики, высокими ценами на энергоносители и потребительским бумом. Такой характер роста способствовал продуцированию цикличного понимания времени. Сырьевая экономика не может выражать себя в семантике прогресса, поскольку основана на принципиально иной смысловой основе – на семантике невозобновляемости природных ресурсов. Эта семантика также актуализирует представления о закрытости жизненного пространства. Главной ценностью сырьевой экономики является земля с ее недрами, а не капитал, экстерриториальный по своей природе. Истощение ресурсов означает катастрофу, гибель культуры. Время как бы совершает цикл от начала к концу истории. Отсюда проистекает идея деградации социального времени и идеализация прошлого. Уже с конца 1990-х годов в переживании времени усиливаются ностальгические мотивы и возрождается иллюзия разворачивания (расширения) «суверенного» пространства «национальных интересов», в котором возможно спасение от болезней «гниющего» Запада. Восприятие пространства в рамках идейного оформления сырьевой экономики неизбежно будет колебаться между двумя хорошо знакомыми полюсами. На одном из

них – идея избранности евразийского пространства, которое не просто останется «тихой гаванью» среди бушующих финансовых и других катаклизмов, но и выступит местом притяжения и спасения разных народов от грядущих катастроф. А на другом полюсе – идея заброшенности и отверженности России в ряду других культур, привлекательных, но чуждых и чужих.

Цикличная логика переживания исторического времени не позволяет создавать прочные связи, необходимые для конструирования целостного эволюционного процесса. В российских политических дискурсах болезненные периоды истории с легкостью вытесняются из исторического самосознания. Речь идет именно о вытеснении, а не о деконструкции прошлого. Поэтому такое вытеснение оборачивается, как правило, некритичной идеализацией периодов, предшествовавших травме[9]. Например, сегодня из публичного дискурса вытесняется память о «перестройке» и первом постсоветском десятилетии. Травматичность этих периодов способствует обозначению их как «случайных», выпадающих из идеальной модели прошлого. В качестве компенсации возникают позитивные образы советского общества 1970-х годов, которые замещают невнятность новых смыслов. Аналогичным образом строилась легитимация советских руководителей. Почти каждый из них стремился обозначить предшествующий период как ошибочное отклонение от движения к идеальной цели, приближая свое настоящее время к мифологическому времени революционного начала советской истории.

Сосуществованием в российской политической культуре двух различных кодов переживания времени – цикличного и линейного – можно объяснить и один из главных парадоксов политики памяти. Для политического мышления в России на разных этапах ее развития было характерно стремление сакрализовать историю. История рассматривалась не как процесс приложения усилий человека и человечества, а как воплощение предначертанной свыше «судьбы». Данное Н.А. Бердяевым определение сущности «исторического» недвусмысленно фиксирует эту особенность: «“Историческое” глубоко онтологично по своему существу, а не феноменально», оно представляет собой «некоторое откровение о глубочайшей сущности мировой действительности»[10]. Отсюда устойчивая традиция догматизации исторической памяти. История часто переставала быть предметом научных споров, воплощаясь в «канонических» текстах, не подлежащих вольным толкованиям. Парадокс, однако, состоит в том, что этот догматизм каким-то удивительным образом сосуществует с той легкостью, с которой российская история реинтерпретируется в угоду актуальным политическим интересам. Эти две характеристики с трудом совместимы в одном феномене, но в данном случае они соединяются. Тезис о непредсказуемости российского прошлого хорошо известен, а массовое историческое сознание характеризуется амнезией даже по отношению к событиям самого недавнего времени. Об этой устойчивой характеристике писал еще П.Я. Чаадаев: «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно»[11].

Политика памяти в современной России: из антимодерна в постмодерн

Кризис политических идеологий и состояние политики памяти сегодня определяются весьма любопытным сочетанием интенций традиционного домодерна (перерастающих в весьма продуманный и рационализированный антимодерн) с тенденциями стихийного постмодерна, которые неизбежно овладевают культурой общества потребления. Особенности политической культуры России, вызванные неустойчивостью опыта модерна, и в новых условиях воспроизводят парадоксы политики памяти.

В начале XXI века уникальное стечение обстоятельств распахнуло для России двери в потребительское общество. Разумеется, потребительские идеалы формировались еще в позднем Советском Союзе, но их притягательная сила сдерживалась сначала идеологией и дефицитом, а затем кризисом и социальными проблемами. Именно потребительские ценности способствуют обретению топосом повседневности собственной автономии и

завершенности. Потребительская установка переносит *желаемое* из идеального топоса прошлого или будущего в посюстороннюю реальность, в топос «здесь и сейчас» (или, в крайнем случае, «здесь и чуть позже»). В производстве смысла начинает доминировать сосредоточенность на «реальном времени»[12], воссоздающемся и в телеэфире (растягивающиеся на многие месяцы и даже годы сериалы и реалити-шоу, в которых главным оказывается не сюжетная связь прошлого-настоящего-будущего, а увлеченность актуальными событиями). Поглощенность актуальными связями, восприятие прошлого как отжившего и отмененного, а будущего – как обусловленного актуальными событиями влечет сужение политических перспектив, которые все больше подчиняются логике индивидуального потребления, а не коллективного производства.

В хронотопе политической культуры происходит принципиальный переворот. Свое исключительное значение теряет тот воображаемый топос, который ранее был местом локализации идеала. В топологии мышления исчезает само место, где можно было бы поместить идеальный критерий. Новой точкой отсчета становится топос повседневности, где вещи и знаки сближаются. Отсюда распад политических идеалов и новый кризис политического целеполагания. Эти изменения требуют перевода политики и истории в новый план – план виртуального. В своей виртуализованной форме политика утрачивает функцию реализации истории и служит фоном, оттеняющим повседневность. Соответственно меняются и функции политики памяти. Она реализуется теперь в виде хаотично актуализируемых образов, предназначенных для потребления. Если раньше обсуждение тех или иных вопросов оборачивалось в нужные идеологические обертки, то теперь, когда общественная сила политических идеологий стала сомнительной, неудобные темы либо просто выводятся из сферы коммуникаций, либо их обсуждение деформируется манипулятивными методами.

В результате картина российской истории создается в массовом сознании не путем воспроизведения сложного и противоречивого процесса, а с помощью пригодных для потребления ярких образов, конструирующих ключевые парадигмальные модели. Дифференциация общества неизбежно ведет и к дифференциации таких моделей, распадающихся на фрагменты. Выбор этих фрагментов и их соединение между собой оказывается произвольным (виртуальное отличается от идеального тем, что идеальное связано с длительностью *становления*, а виртуальное – с мгновенной *актуализацией*).

Эти симптомы нашли свое проявление в имитационном выборе телезрителями «имени России» из числа известных исторических персонажей. Эта масштабная акция стартовала сразу после президентских выборов 2008 года в эфире одного из главных российских телеканалов. Ее слоган – «Россия выбрала свое будущее, теперь настало время выбирать прошлое» – недвусмысленно указывает на зависимость интерпретации прошлого от актуальных контекстов. История распадается на фрагменты, которые теперь можно *выбирать*. Исторические образы, превращаясь в объекты потребления, сами подчиняются теперь логике потребительских рейтингов. Каждый из них осовременивается, а сама история перестает существовать как некий целостный нарратив. К концу 1990-х годов попытки деконструкции культурного наследия советской эпохи сменились усилением ностальгических настроений. Новые символы оказались неустойчивыми, а возникший вакуум заполнился паразитированием на символике прошлого. В результате новая реальность описывается стереотипами прошлого, а интерпретация истории вновь определяется пропагандистскими целями.

Соединимость несоединимого и одновременность неодновременного, ставшие отличительными чертами культуры постмодерна, являются вполне характерными признаками и российской политической культуры. В этом не было бы ничего странного, если бы постмодерн не определялся как радикальное развитие модерна, а культура России не была бы столь антимодернистской. Видимо, особенность

российской версии постмодерна[13] состоит в том, что она вполне органично сочетается с антимодернистскими тенденциями.

Это предположение можно проиллюстрировать на примере тех функций, которые играет политика памяти в культурах модерна и постмодерна. В культуре модерна история, как утверждает Ф. Анкерсмит, воспроизводит «различие в пределах самого прошлого», сам же субъект (точнее, его настоящее время) «не является компонентом этого различия». В постмодерне опыт переживания истории «есть опыт различия между прошлым и настоящим». Переживается не прошлое непосредственно, «как оно было на самом деле», а именно различие, присутствующее в феномене ностальгии[14]. Таким образом, происходит «втягивание» прошлого в актуальные контексты, что оборачивается его «осовремениванием», свободными реинтерпретациями и «новыми прочтениями».

Модернистский «принцип истории», воспроизводивший линейное время развития, не мог стать доминирующим принципом исторического самосознания в российской культуре, усиленно сопротивлявшейся модерну. Различение прошлого, настоящего и будущего задавалось не столько критериями прогресса, сколько идеалами, хотя и локализующимися в прошлом или в будущем, но принципиально оторванными от настоящего времени. Достижение идеала (в том числе в советский и постсоветский периоды) редко обосновывалось критериями, очевидными в краткосрочной и среднесрочной исторической перспективе. Поэтому и чувство истории определялось институциональными разрывами между социальной действительностью и альтернативными представлениями об обществе, хорошо развитыми, но труднодостижимыми. Отсюда проистекало стремление вырваться за пределы истории, проявлявшееся то в консервативных попытках остановки времени перед лицом разного рода эсхатологических ожиданий, то в большевистских и «необольшевистских» мечтах о разрыве исторической необходимости и мгновенном прорыве к идеалу («из царства необходимости в царство свободы»).

Такое переживание времени характерно не для истории, а для мифа. Миф не отрицает историю, он ее сворачивает в циклическое время путем концентрации внимания на архетипическом времени начала (или времени конца, что в цикличном хронотопе одно и то же). Проявляющаяся и сегодня иррациональная вера в некую мессианскую уникальность России является чертой домодернистской мифологии, которая перерастала в мифологию антимодернистскую и антизападную. Встраивание этой мифологической модели в переживание исторического времени ведет к вытеснению из истории всего того, что не соответствует изначально заданной схеме. Видимо, поэтому ревностное отношение к собственной истории и культурной памяти соединяется с весьма вольным обращением с историческими фактами и откровенным беспамятством. Презентизм, характерный для исторического сознания потребительского общества, – это то свойство, которое легко соединяется с привычной для России пространственной парадигмой исторического мышления, размывающей различия между прошлым, настоящим и будущим. Похоже, в этом и состоит «особый путь» российской политической культуры из антимодерна в постмодерн.

* * *

Политика памяти – сложный феномен, который, разумеется, не исчерпывается описанными параметрами. В данной статье речь шла лишь о мейнстримовских тенденциях, отражающих ключевые характеристики российской политической культуры (сильный антимодернистский вектор, доминирование пространственного мышления над временным, размывание линейной модели конструирования исторического времени) и привнесенные тенденции (характерная для проекта модерна идея прогресса, постмодернистские тенденции презентизма и виртуализации прошлого). Эти и другие тенденции в политике памяти определяют весьма специфические и иногда парадоксальные стили и формы репрезентации прошлого. Очевидно, что в условиях иррационализации и фрагментации политики памяти под

угрозой оказалась и легитимация существующего политического порядка. В этих условиях актуализируются локальные (этнокультурные и др.) представления о прошлом, что оборачивается «войной» исторических интерпретаций. Россия и постсоветское пространство в этом отношении создают в высшей степени многообразную среду, которая в условиях кризиса «больших нарративов» неизбежно будет продуцировать различные и, возможно, несопоставимые картины прошлого. Проблема состоит в переосмыслении парадигмальных возможностей создания основы для диалога и взаимопонимания в новых условиях с учетом описанных выше тенденций.

[1] Горин Д.Г. Производство смысла и коды социального опыта в России. М.: Либроком, 2011.

[2] Луман Н. «Что происходит?» и «Что за этим кроется?». Две социологии и теория общества // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. Ч. 2. М.: Книжный дом «Университет». С. 330.

[3] Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // СОЦИОЛОГОС. М.: Прогресс, 1991. С. 194–216.

[4] Там же. С. 203.

[5] Там же. С. 214.

[6] Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. Размышления о мире XXI века. М.: Журнал «Свободная мысль», Центр исследований постиндустриального общества, 2007. С. 22–28.

[7] Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 239.

[8] Успенский Б. Этюды о русской истории. СПб.: Азбука, 2002. С. 69–70.

[9] Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс // Пути российского посткоммунизма. М.: Издательство Р. Элинина, 2007. С. 50–52.

[10] Бердяев Н. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 15.

[11] Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. М.: Правда, 1991. С. 28.

[12] Вирилио П. Тирания настоящего времени // Искусство кино. 1996. № 1.

[13] Epstein M., Genis A., Vladiv-Glover S. Russian Postmodernism: New Perspectives on Post-Soviet Culture. New York, Oxford: Berghahn Books, 1999.

[14] Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры / Пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 396–397.